

★ НА ЛИНИИ ОГНЯ ★



== ОТ ==
СТАЛИНГРАДА
ДО ДНЕПРА

МАНСУР АБДУЛИН

На линии огня

Мансур Абдулин

От Сталинграда до Днепра

«Яуза»

2019

УДК 68
ББК 93/94

Абдулин М. И.

От Сталинграда до Днепра / М. И. Абдулин — «Яуза»,
2019 — (На линии огня)

ISBN 978-5-6040912-8-9

Если можно говорить «повезло» о человеке, тяжело раненном и комиссованном, то Мансур Абдулин именно везунчик. Ему повезло, что, попав на фронт осенью кровавого 1942 года, он начал воевать в подразделении батальонных 82-мм минометов, расчет которых располагался в 100 метрах от переднего края. Ему повезло, что он провоевал целый год, тогда как ожидаемая продолжительность жизни пехотинца составляла от двух недель в наступлении до месяца в обороне. Он участвовал в таких ключевых операциях РККА, как «Уран», «Кольцо», «Румянцев», Курской оборонительной, пройдя путь от минометчика до комсорга батальона. Ему повезло, что, получив тяжелое ранение, он был быстро эвакуирован с поля боя, а высокопрофессиональные врачи сохранили ему ногу. Это книга человека, которому везло, книга об испытаниях, выпавших на его долю, о людях, деливших с ним радости побед и горечь поражений, о тяжелом и кровавом солдатском труде.

УДК 68
ББК 93/94

ISBN 978-5-6040912-8-9

© Абдулин М. И., 2019
© Яуза, 2019

Содержание

От Сталинграда до Днепра	5
«Страшно было на том поле...»	13
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Мансур Абдулин

От Сталинграда до Днепра

От Сталинграда до Днепра

Война, фронт – это выстрелы. Из минометов, пулеметов, автоматов, артиллерийских орудий... Свой первый боевой выстрел на войне я произвел 6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте из самозарядной винтовки «СВТ».

Было так. Накануне у нас поротно прошли, как тогда говорили, «торжественные собрания, посвященные 25-летию нашей Советской страны». Мы дали клятву выполнить приказ Родины «Ни шагу назад!» и двинулись через Дон на правый берег. Дон был тихим, переправились мы благополучно и почти бегом углубились в балку на высоком правом берегу.

«Под ноги!» – то и дело слышится команда, для нас, минометчиков, полная конкретного жизненного смысла. Минометчики навьючены лафетами, стволами, плитами. Просто упади, споткнись – и по инерции, если движение быстрое, железо расплющит твой затылок.

В дальнейшем мне не раз приходилось видеть, как тяжелые выюки добивали упавшего легкораненого бойца. Мы снимали с убитого товарища выюк и мчались дальше. Я как комсорг роты, а затем и батальона следил, чтобы у погибшего комсомольца забрали все документы, а особенно его комсомольский билет.

Перепрыгиваем через какие-то мешки или кочки, в темноте не видно, что у нас под ногами. Угнетает смрадный запах. Бегом от него, вперед, вперед! В небе повисла фиолетовая ракета и осветила... лица трупов. Лежали тут и немцы, и наши...

Ракеты зачастили. Украдкой поглядываю на товарищей: видят они? Да, видят. Но лица у всех невозмутимые, никто не охнул, не выматерился даже: мол, война, она и есть война, дело привычное. А чего там привычное! Мне самому только-только исполнилось девятнадцать, и другим, я знал, немногим больше, а опыт у всех одинаковый – училищные стрельбы в Ташкентском пехотном по ускоренной программе. Прыгаю через трупы и краем сознания успеваю удивиться: как же быстро человек приспосабливается к тому, что в воображении порой и уместиться не может. И в том же краешке сознания нашлось место странному в этой обстановке чувству – я был удовлетворен собой. Если бы и на меня кто взглянул, как я поглядываю на лица товарищей, он бы и на моем лице не прочел ничего, кроме общего для всех выражения сосредоточенности. Оказаться «как все», то есть не хуже других, на войне – это вроде как получить подтверждение своей полноценности. Большое дело для самоуважения. Как я ни был потрясен картиной, открывшейся в фиолетовом свете ракеты, – вот они, внутренности войны, реальная обстановка, из которой шлют извещения: «Погиб смертью храбрых...», – я, как и все, делал то, что нужно, старался не споткнуться, не выпрямиться на свист пули... Последние метры бежим внаклон чуть не до земли – балка стала мелеть, и пули свистят совсем низко, – и вот я спрыгиваю в траншею исправным солдатом: жив, нигде не трет, не жмет, вещмешок и личное оружие при мне, немного отдышаться – и готов стрелять, как только прикажут.

– Что так долго?... – несется нам навстречу с хриплым матерком, и фронтовичков выдувает из траншеи как ветром. Они призраками – вместе со своими минометами, «максимами» – прошмыгивают мимо нас в балку, из которой мы пришли.

Не знаю уж, какой встречи я ожидал. Не собрания, конечно, как на проводах с того берега. Но столь молниеносное исчезновение прежних обитателей траншеи кольнуло. Наверное, я рассчитывал, что «старички» хоть немного побудут с нами, покажут, что нам тут делать, как воевать.

– Чудак! – смеется мой командир расчета Суворов Павел Георгиевич. – Им тоже надо затемно Дон перемахнуть. Да успеть подальше уйти в наш тыл, чтоб фрицы не заметили.

Добродушный этот смешок Суворова окончательно убедил: все, с этой минуты, как мы сюда прыгнули, мы – фронтовики. И как бы ни сложилась ситуация в каждую следующую минуту, никто уже не вспомнит и не учтет, что мы всего лишь бывшие курсанты пехотного училища.

Удивительно, как работает в человеке инстинкт самосохранения. Ведь небось каждый переживал состояние, подобное моему, а уже слышалось от связистов: «Я Затвор, как меня слышите, прием». Батальонные артиллеристы волокли к пушкам ящики со снарядами, на бруствере выстроились «максимы», которые пулеметчики принесли с собой. В нашей роте минометы тоже в полной боевой, и мы с Фуатом Худайбергеновым – я в расчете Суворова наводчик, а Фуат заряжающий – пристроили лотки с минами возле своего миномета. Уж раз война, надо каждоминуто быть ее исправной единицей, это первое дело.

Ну вот, руки сделали необходимое, можно оглядеться. Траншеи несвежие, бока порядком обтерты.

– Значит, давно тут стоим, – поделился соображением Макаров Николай, из соседнего расчета; все боевые расчеты в нашей роте сформированы с училища.

– Или у немцев отбили, – возражает Козлов Виктор.

Голоса у обоих спокойные, будто век воевали.

В небо то и дело, освещая дно траншеи, взлетают немецкие ракеты, не умолкает пулемет.

– Нашей ночной атаки боятся, – усмехнулся Конский Иван, и в глазах его, на мгновение блеснувших в мертвенном свете, я поймал окончательно успокоившую меня уверенность.

Бутейко, наш командир роты, старший лейтенант, уже отправил кого-то дежурить на наблюдательный пункт, а меня предупредил, чтоб готов был сменить дежурного на рассвете.

– Что, Мансур, не жарко теперь тебе? – по-татарски спрашивает подошедший вместе с комроты его заместитель по политчасти младший политрук Хисматуллин Фаткулла, в мирной жизни учитель истории, дотошно каждого из нас расспрашивавший, где кто родился да кем хотел стать, – для будущей, как он говорил, книги.

– Спрашиваю, не жарко ему теперь? – переводит он для Бутейко и всех.

Ну, все и рады погоготать. Дело в том, что я, сибиряк по рождению, на училищных стрельбах пару раз хлопался в обморок от ташкентской жары... Боялся даже, что спишут...

Стали вспоминать, как в училище гимнастерки от соли и пота отстирывали каждый день, и расползались они у нас каждые две недели... Как мечтали: «Скорей бы на фронт!»

– Вот мы и на фронте, – подытожил Бутейко, взглянув на часы. – Теперь не забывайте, чему вас учил.

А учил нас боевой и опытный комроты – он был на войне с первых дней, – чтобы, помимо прочего, мы как можно чаще дополнительными зарядами прочищали стволы минометов от пороховых остатков. По засоренному стволу мина продвигается медленно, и следующая при ведении беглого огня, посланная до выстрела предыдущей, может взорваться в стволе...

– Отдыхайте пока, – велел Бутейко, и они с Хисматуллиным, пригибаясь, ушли дальше по траншее.

Сергея Лопунов немедленно потребовал у Фуата иголку с ниткой, а Кожевников Виктор – листок бумаги и карандаш... Надо сказать, что в вещмешке нашего с Суворовым заряжающего всегда было все, что требуется человеку: иголки, нитки, шнурки, пуговицы, ножнички, бритва, вазелин, мыло, сапожный крем, щетка, йод, бинты – большой аккуратист Фуат. И никогда не сидел без дела. Вот и сейчас, пока мы занимались воспоминаниями, он успел пришить распоровшуюся подкладку своей шинели и уже осматривал покосившийся каблук на ботинке Николая Макарова. И портным он был отличным, и сапожником, и поваром, и, если приходилось, кузнецом и плотником. А хлеб, сахар или там махорку в нашем взводе никогда не делили

по методу, когда один, взяв пайку, спрашивает: «Кому?», а другой, отвернувшись, отвечает: «Иванову, Петрову, Сидорову...» У нас Фуату доверяли разделить, и потом каждый брал с плащ-палатки любую из сорока паек, уверенный, что все они одинаковы. Фамилия Худайберген по-русски означает «божий дар». По отцу Фуат был татарин, а по матери – узбек. Сильный, крупный парень – мой одноклассник. Неразговорчивый. Но когда приглашал всю роту на плов после Победы – откуда только бралось красноречие! Все были вынуждены клясться, что приедут к нему в Ташкент. Мне клясться было сподручней, чем другим: незадолго до войны отец перевез нашу семью из Сибири на рудник Саргардон в Средней Азии – домой все равно через Ташкент ехать...

Про все про это я, по примеру большинства товарищей, нацарапал домой письмо, написал адрес: «Южно-Казахстанская область, Бостандыкский район, кишлак Бричмулла, Абдулину Гизатулле», и обратный: «Полевая почта 1034». (Через сорок с лишним лет, когда я возьмусь записать на бумаге пережитое, сотрудники архива Министерства обороны СССР, заглянув в дивизионные – 293-й дивизии – документы, с некоторым удивлением подтвердят: да, почта в наш 1034-й стрелковый полк – до преобразования его в феврале 1943 года в 193-й гвардейский – шла под номером полка.)

Бросил треугольник в общую кучку, и вот тут – до дежурства оставалась еще пара часов – от нечего, как говорится, делать одолела меня дума, имя которой – страх. Вон Иван Конский спит и небось во сне свою родную Смоленщину видит, а в моей зрительной памяти назойливо держится картинка, увиденная в балке: фиолетовые лица трупов. С трудом удалось вытеснить увиденное воспоминаниями детства.

Я родился в шахтерской семье 14 сентября 1928 года в девственной и дремучей тайге, в таштагольском поселении Сухой, в котором проживали с незапамятных времен вместе с коренными таштагольцами беглые и не беглые татары, эстонцы, венгры, немцы, русские староверы и киржаки, а также и казаки – пугачевцы, у которых у каждого была своя вера, свой бог или идолоподобный божок. Например, у наших уважаемых русских соседей по улице были свои боги: у одних «дырка» в углу дома в горнице, а у других стоит во дворе молодая лиственница, обвешанная разным тряпьем, которую они считают «священной» и на нее молятся. «Через ту дырку люди общаются с Высшей Силой»...

Люди, имея своих богов и с разными своими уставами и правилами поведения, жили в мире и согласии. Объединяло их и общее суеверие, которое заключалось в том, что над всеми ими есть Высшая Сила, жестоко карающая «худых» людей. Местные поселенцы независимо от национальности и разной веры роднились между собой и таким мистическим понятием – «хозяин» тайги, реки, горы, озера, болота, шахты, охраняющий свои владения и богатства. Кто посмеет сотворить «худое» дело, ОН такого человека непременно «изничтожит, не оставив и следа»...

Мои родители были «приезжими со стороны» и свободными от всякой религии «партейцами», но пользовались среди местных поселенцев авторитетом, как единственные грамотные люди. Отец работал «штейгером» в шахте и как «партейный» был слушателем «рабфака», а мать, хоть и была малограмотной, учила местных людей хотя бы расписываться. Я рос среди местных сверстников и взрослых и сформировался среди них как личность. Поскольку все окружающие меня люди были очень разными – были среди нас «худые», а также и «добрые», я впитал в себя буквально все человеческие качества – как положительные, так и отрицательные.

Отделять плохое от хорошего помогала мне врожденная способность к самоконтролю, благодаря которой я, независимо от моего желания, действовал безошибочно в любых экстремальных и не экстремальных ситуациях. Я только теперь, когда оказался недалеко от финиша своей жизни, понял, что «самоконтроль» и есть та самая Сверхъестественная Сила Высшего Разума.

Я родился, когда российское самодержавие развалилось, а потом остатки ее военных сил были разгромлены в Гражданской братоубийственной войне, а новая Советская власть только что родилась и переживала затяжной и хронический голод, сопровождающийся страшными болезнями – тифом, холерой, чахоткой, черной оспой, когда покойников некому было хоронить, когда бабы хоронили своих детей без слез и не скрывая свою радость от того, что избавляются от «лишних ртов», когда многие взрослые и даже дети всякими способами лишали себя жизни. Я нередко видел, как от постоянного голода моя мать от безысходности впадала в истерику и, обезумев, кричала: «Удавлюсь! Убегу от вас (это от меня, младшего братишки и отца) куда-нибудь!»...

Она не от хорошей жизни, не стесняясь меня и братишки, завидовала своим подружкам, которые уже похоронили всех своих детей. Я, несмотря на то что был трех-четырёхлетним, понимал ее и не обижался. Я вымаливал у Высшей Силы, о которой я уже знал, чтобы Он дал моим родителям здоровья и чтобы «хозяин» шахты уберег моего отца под землей.

А оттого, что я был «дармоедом», мне было стыдно и я старался терпеть болезненный голод и не плакать. Как-то наш «фершап», осмотрев и прослушав меня, сказал моей мамке: «Ваш сынок ничем не болеет, но он страдает малокровием и поэтому слабый, а лекарство для него – хорошее питание!» С тех пор мне стало страшно порезать палец, Я пугался не на шутку, думая, что умру от потери последней капли крови, а мамка обрадуется, избавившись от «лишнего рта»...

К моим родителям часто приходили «на огонек» поселенцы, как к единственным грамотным людям – «партейцам», со своими наболевшими проблемами. «Скажи-ка, таварищ Абдулин, как партеец, прямо! Есть бог, аль нету иво?!» Затаив дыхание, дожидаются ответа. «Бога, к моему сожалению, нет. Но так как людям всегда требовался сильный, всезнающий и всевидящий, справедливый и карающий благодетель, они его придумали, чтобы на земле всем было хорошо». После таких слов у слушателей глаза чуть не выпрыгивают из орбит. Но отец тут же их успокаивает: «Но над человечеством вместо бога есть Высшая Сила Разума! Она нами правит и не даст своему народу заблудиться и погибнуть!» Это действовало на всех успокоительно и давало надежду на хорошее будущее. Люди согласно трясли своими бородами: «Так-то можно ишшо жить, а совсем без веры не можно будет». И, низко откланиваясь, задом выходили из избы...

С ранних дошкольных лет я любил и до сих пор люблю рисовать, пилить и строгать, придумывать и делать разные забавные игрушки, а в школьные годы я ловко мастерил деревянные лыжи и коньки, замораживал «коровяк» для катания с горки. Мои скворечники-теремочки очень нравились скворцам, которые устраивали свои петушиные драки за владение...

Я активно участвовал в авиамоделльном и планерном кружках. В свои двенадцать лет я имел значки «БГТО», «Ворошиловский стрелок» и с ружьем бегал в тайгу «на рябчиков». Я мечтал стать художником, артистом, горным штейгером, фотографом, летчиком, шофером и красным командиром! Однажды я изготовил деревянный фотоаппарат, но у меня не было для объектива хотя бы стекла от очков, и я прожег раскаленным шилом круглое отверстие и, изготовив при помощи золы матовое стекло, случайно обнаружил, что на определенном расстоянии от «объектива» на нем довольно ясно появилось изображение моего волкодава-кобеля, который случайно подвернулся перед моим фотоаппаратом, но вверх ногами! Население прииска, узнав про мою «аказию», взволнованно и с восторгом то и дело меня славил «до небес»: «Мансурка-то Абдулин, энтот зимогор, однако молодец! Придумал антиресну аказию, катора всех баб и девок переварачиваит вверх ногами, а юбки-то у них спадывают на головы! А тады у их можна разглядывать! Штанов-то у них нету-ти?! Ха-ха!...» А девки и бабы, завидев меня с «аказией» в руках, в панике и с диким визгом мигом исчезают кто куда. Но однажды они напали на меня из засады, свалили на землю, «аказию» отобрали, разбили мне нос и чуть было не оторвали мне уши...

Однажды я, как самый талантливый и постоянный участник художественной самодеятельности, получил в каком-то спектакле главную роль белогвардейского офицера, который изуверски раскаленными кузнечными щипцами пытается на допросах наших пленных красноармейцев – коммунистов, а затем расстреливает их... Спектакль был сорван потому, что наши пацаны-зрители, сорвавшись со своих мест, ворвались на сцену и с ревом «Бей беляка!» жестоко избили меня, как «всамделишного»... Тогда мне отбили не только печенку, но и охоту быть артистом... А за то, что я хорошо рисовал на дефицитных тетрадках, отец «разрисовывал» своим сыромятным ремнем мою голую задницу так, что я целую неделю лежал на полатах на животе без штанов, демонстрируя ее тараканам...

Мое детство прошло на Миасских приисках. Я, как и все наши пацаны и даже девчонки, все лето и «от зари до зари» промышлял золотишко, промывая глинистые комья с песком в обыкновенном железном тазике или в старательском ковше. За добытое золото я каждый год обновлял свою обувь и одежду. Так я заработал себе сверкающий «лисапед», патефон и ружье.

В 1940 году за возможность получить хлебную карточку я бросил школу и пошел на работу в шахту коногоном – откатчиком вагонеток. А 22 июня 1941 года грянула война. Как шахтер-горняк я был забронирован от мобилизации, но добился отправки на фронт. Четверо друзей – Коняев Коля, Ваншин Иван, Карпов Виктор и я, мы явились в Бостандыкский райвоенкомат, доказывая военкому, что не такие уж мы опытные шахтеры, чтобы нас бронировать от фронта. «Броня Комитета Обороны! – твердит военком. – Не могу и не имею права!» Пришлось – смешно вспомнить – пригрозить, что взломаем ночью магазин, чтобы отправили нас хоть в штрафной батальон, а на суде дадим показания, что майор Галкин не хотел отправить на фронт по-хорошему...

Смог-таки майор Галкин: куда-то позвонил, с кем-то согласовал – и вот мы голышом перед придирчивой комиссией, набирающей курсантов в авиационное училище. Приняли только двоих из нас – моего самого близкого друга Коняева Колю и Виктора Карпова. Мы с Ваншиным – снова в военкомат, и в тот же день поехали: Иван – в Чирчикское танковое училище, а я – в Ташкентское пехотное имени В. И. Ленина... Конечно, я им завидовал, да только уцелеть в той войне удалось только мне – пехотинцу.

После успешного окончания пехотного училища им. В.И. Ленина меня, отличника, как дома в шахте забронировали от отправки на фронт, оставив на преподавательскую должность. Кое-кто из друзей завидовал мне, а многие ехидничали: «Он очень хотел в действующую армию, но теперь посмотрим...» Между тем я пошел на авантюру – уговорил другого отличника по фамилии Такцер, чтобы он сейчас же съел обмылок хозяйственного мыла, чтобы оказаться в медсанчасти и откосить от фронта. Его прошиб понос, а я явился к комиссару училища с предложением: «Оставьте себе Такцера, а меня включите в список откомандированных в действующую армию!» Все мои однокашники обрадовались мне как лучшему запевале, и я был назначен ответственным за нашу группу численностью 700 новоиспеченных младших лейтенантов.

По прибытии в дивизию всех моих товарищей распределили по полкам, а меня оставили в штабе, в резерве. Но я не хотел отставать от моих друзей и напрасно требовал распределения в любой полк. «В армии нет «не хочу», «не могу», «не умею» – таков был ответ. Во время моего очередного дежурства по штабу меня вызвал комдив. Разрешишь не докладываться, он усадил меня слишком любезно и даже пододвинул свою пачку папирос «Казбек»:

– Кури.

Я давно заметил, как он присматривается ко мне, словно цыган на конном базаре на облюбованного коня. Я не посмел закурить перед генералом и настороженно приготовился к самому худшему, так как я уже был в курсе, что он подыскивает себе личного адъютанта, а он, как всегда, «под мухой», и я еле сдерживаюсь, чтоб не сделать ему замечание. Он уверенным

хозяйским тоном, еле шевеля опухшим языком, бормочет, упершись в меня своими бычьими глазами:

– Сегодня я решил подписать приказ о твоём назначении моим личным адъютантом. Твоим прошлым и характеристикой я доволен и хочу услышать твоё согласие.

– Я прошу вас отправить меня в полк 1034, где мои друзья.

– Не ожидал, не ожидал я, чтобы ты отказался. Неужели ты не понимаешь, что на «передке» нет романтики, а там мясорубка! Соглашайся! Не пожалеешь! Не забуду о наградах и об очередном звании... Ну, подумай хорошенько. Я тебя не обижу...

– Нет, товарищ генерал, я не умею чистить сапоги, а умею воевать. – Сказал как отрубил.

– Почему? – У него высоко взлетели лохматые с проседью брови и долго не опускались.

– Я поклялся друзьям воевать вместе.

– Да на твоём месте любой твой друг не отказался бы!

Так я оказался на «передке» вместе с моими однокашниками. Я обратился к полковому комиссару, чтобы он помог мне побыть рядовым, так как я стесняюсь командовать солдатами, по возрасту годными мне в отцы, объяснив, что хочу сначала «нанюхаться пороху». Моя просьба была удовлетворена – лейтенантов хватало. Знал ли я, что иду навстречу смерти? Знал. Воображение ещё не представляло конкретной картинки, увиденной на дне балки в фиолетовом свете ракеты... Но непостижимое существо человек! Окажись я сию минуту за тысячи километров от этой балки в моем цветущем кишлаке Бричмулла на Чаткале – снова пойду-побегу в военкомат стучать кулаками, чтоб отправили сюда. Вот ведь штука: и умирать не хочется, и жить немоготу, если нечиста совесть. Истерзала меня в шахте мысль: а что я стану говорить, когда кончится война? Что в тылу тоже были нужны кадры, особенно на шахтах оборонного значения? Нужны. Да каждому не объяснишь, всем не докажешь. Девчонок и тех берут на фронт... Но как не хочется погибнуть! Как невыносимо страшно стать трупом в балке, освещаемой фиолетовым светом ракеты...

На этой мысли меня оборвал Суворов, которому, видимо, тоже не спалось.

– Что, Мансур? – спросил он. – Трусил? Как под дых ударило. Да ладно, не стесняйся, – подмигнул он. – Все трусят.

Я честно признался, что ничего подобного за ребятами не заметил.

– Дык виду не показывают, – добродушно объяснил Суворов и опять мне подмигнул заговорщически. – И ты не показывай. Держи хвост пистолетом!

Мне стало интересно: Суворов лет на семь меня старше, до войны служил в кадровой, в Первом Московском полку, и воевал с первых дней, даже орден

Красной Звезды уже был у него, и я спросил: неужели и он трусит?!

– А по-твоему, я жить не хочу? – Он улыбнулся. – Да что поделаешь, Мансурчик, «мы их не звали, а они приперлись» (слова популярной песни), пространство им подавай! Наше с тобой. Сверхчеловеки они, понимаешь? Мы им годимся разве что сапоги чистить. Как тебе это? Один разговор с такими – драка. Масштабная драка. Не в стороне же стоять... Уж тут боись, не боись...

Рассветало. Немецкие пулеметчики притихли. И ракет не стало – ночь кончилась.

– Ну, пойдем, провожу тебя, – сказал Суворов.

Ячейка наблюдателя была хорошо замаскирована. Суворов поглядел в перископ, подвинулся, уступая мне место, и какое-то время стоял так, задумавшись.

– Метров триста до них, – сказал он. – И солнце им в глаза.

Потом пожелал ни пуха ни пера и ушел.

Солнце им в глаза. Значит, мне смело можно высматривать расположение противника. Я установил на своей самозарядной винтовке постоянный прицел, загнал патрон в ствол, приложился к прикладу и примерился. Все готово. Переднего края фашистов как будто и нет совсем. Понимаю, что они лишний раз не хотят себя обнаруживать, поэтому я их и не вижу.

Наблюдаю терпеливо, знаю, что они здесь, а в голове мелькают мысли разные. Некстати вспомнилась тайга в далеком детстве, свежий затес на лиственнице – мишень, березовый сучок с развилкой, вбитый в землю, установленное на нем тяжелое охотничье ружье – меня, восьмилетнего, отец учит стрелять. «Подходи и целйся вот так!» Отец показал мне, как целиться, и я, растопырившись, вцепился в ружье. Мушка и цель совместились сразу. Торопясь – «в тайге надо быстро стрелять, рябчик ждать не будет, улетит!», нажимаю на курок. Но выстрела нет. Я подумал, что сил у моего пальца не хватает. Как бы отец не заметил этого да не отложил обучение на потом, когда подрасту! Жму на неподатливый курок с таким усердием, что надуваюсь, как бычий пузырь. Отец поторапливает ласково: «Хватит целиться, стреляй!» Жму, жму, сейчас лопну от натуги... Неожиданно прозвучал оглушительный опозоривший меня звук, напоминающий треск, с которым рвется брезент, из которого шьют шахтерам спецовки. Это рассмешило отца так, что он даже присел, и я увидел все до единого его крепкие и белые зубы, так сильно он закинул назад голову, хохоча... Потом я узнал от него, что жал на скобу, а не на курок, и выстрелы потом получались такие отличные, что не успевал отец заряжать патроны. Радовался успеху я, а больше отец...

Волновало ли меня, что не за рябчиком теперь охочусь, что собираюсь убить человека? Сказать по правде, думал я совсем о другом. Вспомнилось, как две недели назад, после того как наша дивизия торопливо погрузилась в эшелоны (1034-й полк грузился на небольшой станции Колтубанка) и взяла направление на фронт, в пути наш эшелон попал под бомбежку. Машина наш то резко тормозил, то мчал вперед; бомбы в состав не попали, но, пройдя на бреющем полете, немецкие самолеты довольно метко «прошили» вагоны из пулеметов. Дым тола и угля, запах горелой земли, кровь убитых и раненых, стоны... Все это я увидел, услышал, вдохнул, когда до фронта еще были сотни километров. Многие мои товарищи погибли, не успев убить ни одного гитлеровца. Неужели и я так? Даром? Буду убит? Что же это такое?! Для этого я, что ли, с такими трудностями шел к своей цели – попасть на фронт, – чтобы умереть, не увидев своего врага?

Сколько ни всматриваюсь – ровная степь до самого горизонта. Ни звука, ни движения. И вдруг что-то шевельнулось впереди. Сердце мое заколотилось. Свою винтовку я пристрелял хорошо и в ста метрах могу продырявить консервную банку... Сразу стало жарковато... По мере приближения цель увеличивается. Немцы. Идут по траншее. Сколько их? Несут по охапке соломы на ремнях через плечо. Вот повернули, и сразу стало видно, что их трое. Теперь они идут по своей траншее вдоль переднего края. Надо скорей стрелять! Я решил целиться в среднего. Но что это? Не могу совместить прорезь, мушку и цель. Найду цель и мушку – прорезь теряю. Найду прорезь – теряю мушку. Вспотел, глаза потом заливает, винтовка ходит в руках... Убедившись уже, что будет промах, нажимаю на курок. Тишину нарушил тупой звук выстрела. Немцы исчезли разом, а я медленно, как смертельно раненный, сползаю на дно ячейки... Как же я возненавидел себя в ту минуту! Размазня! Упустил такую возможность! Понял, что причина моего страха, трусости даже – в угрозе моей дармовой для фашистов смерти. Хотя бы одного из них успеть убить! Чтобы квитым быть заранее. От этой-то мысли, от этой-то спешки и затрясло всего, едва увидел их на расстоянии выстрела. Эх, растяпа! Все это, конечно, в считанные секунды, пока сползаю на дно, проносится в моей голове... С почти равнодушным лицом встаю и вновь припадаю к прикладу моей винтовки. Ну где там мои фрицы? Скрылись, конечно. Да нет, еще бегут, согнувшись ниже и с большими интервалами, по своей траншее. Вот сейчас добегут до места и скроются. «Ну, теперь-то и вовсе не попасть», – мельком подумалось. Прорезь, мушка, цель – странное дело, никакой «пляски», все на месте. «По движущейся цели с опережением...» Делаю опережение на пару сантиметров перед средним фрицем и плавно нажимаю курок.

Передний фриц, совсем согнувшись – только тучок с сеном мелькает, – продолжает бежать, а второй остановился, выпрямился во весь рост, голова его неестественно дернулась

назад, и он, винтом крутнувшись вокруг себя, нырнул вниз, как тряпочный. За третьим я просто не уследил, замороженный медленным поворотом на месте второго. «Никто из наших не поверит, что я убил фашиста!» – каюсь, это первое, что пронеслось в голове. Только что осыпавший себя самыми бранными эпитетами, теперь я преисполнен непомерной гордости: «Эх, кабы видел кто из наших!»

И вдруг слышу:

– Молодец, Абдулин! Молодец! Ты, кажется, комсорг в своей роте?

Смотрю, а это сам комиссар батальона капитан Четкасов. Опустил на грудь бинокль, улыбается:

– Ты в батальоне первым открыл боевой счет!

Оказывается, он услышал, что кто-то стреляет, подполз и увидел, как я со второй попытки уложил немца.

Часом позже от Четкасова узнал, что и в полку я первым открыл боевой счет и представлен за это к медали «За отвагу».

Сказать откровенно, потом доводилось мне совершать поступки более значительные и в более сложных условиях, чем этот мой первый уничтоженный гитлеровец. И поступки эти не были отмечены наградами. Но все относительно в бухгалтерии войны. Надо учитывать, что полк наш почти сплошь был сформирован из необстрелянных курсантов, только что прибыл на фронт, и чрезвычайно важно было скорей адаптировать нас к условиям передовой. В ротах политруки призвали: каждому солдату в честь годовщины революции уничтожить не менее одного гитлеровца.

Комиссар подарил мне блокнот, на первом листке которого своей рукой написал: «6 ноября 1942 года на Юго-Западном фронте в районе станицы Клетская курсант-ленинец Ташкентского пехотного училища Абдулин Мансур Гизатулович первым в полку 1034 открыл боевой счет, уничтожив гитлеровца в честь 25-летия Великого Октября. Комиссар батальона к-н Четкасов».

В разговоре выяснилось, что он чуваш, что дома у него остались малые дети, семья из пяти человек. Рассказал мне, что оборону мы держим недалеко от Вешенской – родной станицы Михаила Шолохова, а севернее от нас – знаменитое Куликово поле.

Хороший был у нас комиссар. Любил песню: «Комиссара каждый знает, он не молод и не стар...»

Вскоре меня приняли в ряды ВКП(б) и выбрали парторгом роты.

Обо всем об этом я написал второе письмо своему отцу – старому большевику. Пусть гордится своим сыном!

Написал, что одного фашиста – за себя – я уже уничтожил, «чтоб не обидно было в случае чего».

«Страшно было на том поле...»

В тылу у нас выше по течению Дона – Куликово поле, на котором почти шесть веков назад славными предками русичей была разбита орда Мамая. А впереди – за нейтральной полосой в триста метров – гигантская орда Гитлера, которую предстоит разбить нам.

14 ноября 1942 года полк получил боевой приказ – прорвать на нашем участке оборону фашистов и занять их оборонительные сооружения. Фактически приказ означал разведку боем, но сказать, что мы знали об этом в тот день, – значит пойти против истины: солдату не дано знать оперативных планов командования.

Практически без артиллерийской поддержки батальоны штурмовали провололочные заграждения, противопехотную паутину. Чтобы сдержать натиск нашего полка, немцы были вынуждены открыть огонь из всех видов огневых средств, обнаружить порядок их расположения, что, собственно, и требовалось нашему командованию, уточнявшему детали контрнаступления. Прорвать оборону противника мы не смогли, но свою боевую задачу, потеряв при этом большую часть личного состава и сократив свой участок переднего края до фактически одного батальона, мы выполнили.

Картину того первого боя сознание смогло охватить лишь после его окончания, когда в ночь с 14 на 15 ноября в числе немногих оставшихся в живых я вышел в боевое охранение к нейтральной полосе.

С вечера моросил мелкий дождь, потом резко подморозило, и под ногами нашими в темноте тонко звенела стеклянная глазурь. А потом взошла полная луна...

Это было похоже на многотысячную скульптурную композицию застывших в ледяном панцире фигур солдат в натуральную величину – лежащих навзничь, сгорбившихся, сидящих, скрючившихся, со вскинутыми руками – призывающими не ослаблять атаки... Обледенелые лица с широко открытыми глазами и кричащими ртами... Груды тел на колючей проволоке, которые придавили ее к земле, приготовив проход к немецким траншеям. Душа сопротивлялась, не позволяла принять обледенелую композицию за реальность. Верилось, что кто-то включит сейчас камеру и застывший на мгновение кадр оживет...

Всего два месяца назад мы сдавали госэкзамены по сокращенной (шесть месяцев вместо трех лет) программе. Вот-вот должны получить кубари младших лейтенантов... Ясно, до подробностей, припомнился сентябрьский вечер, когда весь наш личный состав был построен по боевой тревоге и начальник училища зачитал приказ Комитета Обороны о немедленном отправлении курсантской бригады в действующую армию. Ночью складской смазкой смазали оружие и сдали его, утром погрузились в эшелоны, и вот мы мчимся от Ташкента на северо-запад – навстречу своей судьбе. Смех, песни всю дорогу. Двое суток эшелон шел без остановок до станции назначения, где нас ждало начальство 293-й стрелковой дивизии, только что прибывшее с фронта за пополнением...

Большинство моих товарищей-курсантов погибло в этом первом бою ради общей победы нашего контрнаступления под Сталинградом. У всех ли у них Хисматуллин успел узнать, кем они хотели стать?.. Он и сам погиб в этом бою, наш боевой политрук...

Повалил снег. Густая пелена спрятала чудовищную картину боя от наших глаз. Гигантское покрывало, белое и тяжелое, как саван, опустилось к утру на землю. Уже днем в степи, насколько хватал глаз, все было ровно, бело и тихо – так, словно тут вечно царили только покой и первозданная чистота.

Тихо было до 19 ноября.

Утром 19 ноября 1942 года рухнули глыбами замерзшие борта траншей. Земля под нашими ногами качнулась, как гигантский пласт сырой резины. Воздух стал вдруг плотным и упругим, прыгающим вверх-вниз от невидимых ударов. Им не дышать – от него бы спасти

легкие и барабанные перепонки, которые он хочет разорвать. Со стороны немецких траншей земля вздыбилась и повисла неподвижной черной ширмой, грохот орудий слился в сплошной грозный гул – так наша артиллерия дала сигнал к долгожданному контрнаступлению под Сталинградом.

Хочется кричать «уррра-а!». Но вместо этого из глоток наших несется «е-е-е...». Звук вибрирует! И смешно слышать нам от себя и друг от друга это жалобное бление. Помолчим уж, пока «говорит» артиллерия! Черная ширма вздыбившейся земли плещется над передним краем фашистов, не опускаясь.

«Уж, наверное, хватит, – скаречно подумал я. – Лишние снаряды тратят наши артиллеристы, можно бы и экономить... Но все же лучше перестараться, чем недостараться...»

Нарастающий гул артподготовки внезапно оборвался. В ту же минуту из-под снега позади нас вырвались сотни танков и пошли вперед через наши траншеи. Пропустив их все над головой, мы выпрыгнули наверх (у командира нашего расчета Суворова прицел, у меня ствол, у Фуата Худайбергенова за спиной лафет, четвертый наш номер волочит плиту, а пятый – лотки с минами) и тоже побежали – прямо в медленно оседающую стену черной пыли.

Вот уже прошли фашистскую линию обороны, но ничего не видим, кроме дымящейся земли. Ни одной живой души! Нет, не зря курсанты-ленинцы нашего полка пять дней назад сложили здесь свои головы: узнав принцип расположения огневых средств противника, артиллерия сегодня была точно по всей линии фронта, и контрнаступление развивалось успешно. Даже вражеских трупов не видать – похоронили мы их тут всех мощной артподготовкой.

* * *

Помню румын, сдавшихся нам без боя.

– Антонеску капут! Сталин гут! Рус камрад гут!

Наяривают в губные гармошки нашу «Катюшу».

А кони у них – загляденье. Красивые, ухоженные. Сбруя вся кожаная, скрипит. Дуг нет, хомутов нет. Только широкие толстые лямки. Повозки крыты по-цыгански. Среди них очень богатые, на резиновом ходу – целые вагоны-люкс с окнами и занавесками. Наша стрелковая дивизия в один момент превратилась в кавалерийскую – все сели на коней!.. Но через сутки коней пришлось оставить.

Видели вы на войне раненого коня? Я видел. Это был конь, на котором я проскакал несколько километров и с которым вместе упал от близкого разрыва снаряда, перевернувшись раза три через голову. И вот он сидит, упираясь в землю передними ногами. Перебирает ими, как пританцовывает. Весь мокрый. Мускулы трясутся от напрасного усилия – еще не понимает, что уже не встать ему. Ноздри раздуты воронками и розовы от крови. Стонет как человек и смотрит на меня широко открытыми глазами, из которых катятся слезы. А я стою и не нахожу сил его пристрелить... Остановился кто-то из пожилых солдат и прекратил мучения раненого коня: вложил ему в ухо карабин и выстрелил... Вот пишу эти строки и плачу. От чувства нашей вины перед всем живым и таким гармоничным в природе. Что думал раненый, тяжело умирающий конь, глядя в мои глаза широко открытыми глазами? Что люди – противоестественная, уродующая природу сила? Да нет, понимать дано лишь самой этой силе. В ту предсмертную минуту от меня же, от человека, конь ждал спасения и помощи...

Артиллеристы наши сначала решили поменять своих «монголоков» на румынских битюгов-тяжеловозов, но через сутки их выпрягли. И хорошо, что «монголки», которых было забраковали, не обиделись на своих ездовых и бежали, как преданные собаки, рядом. Маленькие ростом и лохматые, злые и кусачие, монгольские коньки-горбунки оказались очень выносливыми и хорошо служили нам всю войну. А румынских коней нам одного за другим пришлось оставлять в чистом поле. Хотя сытые и красивые, слишком они оказались нежными для войны.

* * *

В Калач-на-Дону ворвались наши танкисты одни. Мы, пехота, вошли в освобожденный ими город через сутки. Так что Калач мы не брали, только прошли через него.

Перед самым почти Калачом, сильно растянувшись по большаку – кто еще на коне, а кто пешком, – слышим вдруг:

– Воздух!..

Откуда быть авиации? День туманный. Но шум моторов слышу.

А потом и увидел: на высоте, кажется, не более ста метров летят пузатые немецкие бомбовозы. Летят вдоль дороги – по ходу нашего движения – и сыпят бомбы. Падая густой россыпью – того и гляди пришибет пузатая чурка одним своим весом – и ударяясь о землю, эти бомбы не сразу взрывались: за то время, пока они кувыркались и елозили по скользкому снегу, еще не взорвавшись, много можно было успеть сообразить и сделать. Сравнительно много.

...Какие-то секунды я вместе со всеми еще продолжаю убегать от падающих бомб по ходу движения, перепрыгиваю через тех, кто, повинувшись команде «Воздух!», упал ничком. Где огибаю, а где перепрыгиваю через чурки со смертоносной начинкой, только что упавшие впереди, – их уже с десятков в поле моего зрения. А позади уже пошли взрывы, вдогонку – сплошной грохот и земля сверху. Пока не догадываюсь, что надо резко изменить курс на девяносто градусов – в сторону от дороги!.. Сворачиваю. Но и по этому курсу впереди меня кувыркается в кювет огромная дура. Мне уже не обогнуть ее, потому что лечу я как пуля. «Давно она упала? – спрашиваю себя. – Успею?!» Уже взлетел над ней и злюсь, что медленно лечу, словно магнитом она меня держит над собой... Но вот уже опять бегу, а спина словно чувствует: еще с полминуты можешь бежать, но уж потом падай и влипай в землю... Что-то перелетело через меня и шмякнулось впереди – перепрыгиваю... Через что я перепрыгиваю? Лошадиная голова, уздечка... Узнаю: конь нашего взводного... Падаю, наконец, влипаю. Обращаюсь в гибкий лист, как камбала... Вещмешок сорвало взрывом с моей спины и унесло куда-то... Оглушенный, поднимаюсь и забиваюсь в кашле и рвоте, выворачивающих меня наизнанку... Кругом черная земля, снега как не бывало, окровавленные клочья чьих-то рук, ног, запах горелой земли... Пронзительнейшая боль в ушах. А в голове картинка, которую зрение успело выхватить в минуту дикого пробега: пузатая чурка врезалась в спину коня и свалила его вместе с нашим комвзвода, который как раз хотел прыгнуть с него – одна нога на земле, а другая еще в стремени... Дорога – кровавое месиво из тех, кто сразу упал ниц при команде «Воздух!»...

Мост через Дон, по которому прорвались в Калач наши танкисты, был уже разрушен фашистской авиацией. А лед еще тонкий и такой скользкий, гладкий как стекло, что шагу невозможно ступить. Тяжелыми стволами, лафетами, плитами мы вмиг его проломим, и все окажемся в ледяной воде, стоит только одному поскользнуться и упасть.

Раздается команда набрать песок в каски и в полы шинелей и сыпать перед собой, рассредоточившись на пять метров друг от друга. И вот цепь за цепью осторожно идем по тонкому сверкающему льду. Лед прогибается под ногами, того и гляди лопнет... За всю войну не припомню более тихой переправы, чем эта. На десятки метров в обе стороны слышу только посапывание да приглушенное ворчание: «Тише!», «Не топай как слон!», «Осторожней!». Сбоку от нас мост. Его, как муравьи, облепили саперы. Перед мостом столпотворение машин вперемежку с конными повозками, а подъезжают все новые и новые без конца и края. Артиллеристы не могут форсировать реку по такому зыбкому льду и тоже ждут, когда саперы восстановят разрушенный пролет.

А мы, пехота, уже на левом берегу. Где же наши танкисты? На всем отрезке пути от Дона до города – в траншеях, канавах, на дороге – трупы фашистов и вражеская техника. Здорово наши танкисты дали прикурить гитлеровцам!

Входим в Калач на рассвете. На пустынных улицах следы панического отступления врага. Валяется награбленное и брошенное посреди улиц барахло. Окна в домах распахнуты, кучи битого стекла. Видимо, гитлеровцы выпрыгивали на улицу прямо из окон. Вон свесился с подоконника убитый немец в длинной рубашке...

Где немцы? В восьми километрах от нас – крупная станица Илларионовская. Командир батальона Дудко Игнат Севостьянович и комиссар Четкасов Александр Ильич вызвали нас с Майоровым – курсантом из Орского училища аэрофотосъемки: четыре часа нам срока – добраться до Илларионовской, разведать, занята ли немцами, вернуться и доложить.

Майоров меня постарше на два-три года, физически сильный, роста среднего, но коренастый. Его назначили старшим. Чтобы сэкономить время, мы с ним решили, сколько можно будет, проехать на трофейных велосипедах.

Время двадцать часов. По дороге, утоптанной отступившими немцами, ехали быстро: знай крути педали... Вот миновали наш боевой дозор и нырнули в тревожную темень. Но где-то на половине пути дорога неожиданно раздвоилась, и мы спешились.

Не знаю, как Майорова, а меня в моем Ташкентском пехотном успели, хоть и по верхам, ознакомить с боевой тактикой ночной разведки. И когда Майоров принял решение каждому пойти своей дорогой и действовать самостоятельно, я возразил, что это опасно, если станица занята и немцы выставили дозоры. Наверняка обе дороги с двух сторон ведут к Илларионовской. Лучше следовать друг за дружкой на дистанции видимости, чтобы один мог прикрыть другого. Но Майоров не стал вступать в обсуждение дальнейших действий.

– Струсил? – с превосходством спросил он.

И я был вынужден подчиниться. Да и потому, что обидным показалось обвинение в трусости, и потому, что приказ старшего не обсуждают.

– Встречаемся на этой развилке! – приказал Майоров. – Если мой велосипед будет еще здесь, жди меня пятнадцать-двадцать минут. Не больше.

И он ушел по одной дороге, а мне ничего не оставалось, как пойти по другой.

Ситуация в один миг превратилась в крайне невыгодную, бессмысленную даже. Если Илларионовская занята немцами, то на подступах к ней обязательно выставлены боевые охранения и дозоры. Дозоры эти скрыты, замаскированы, иначе говоря – засады. А я топаю в их направлении во весь рост, никем не прикрытый, никем не страхуемый. Не разведчик, а живой «язык», взять которого не представляет труда. В один миг бесшумно вырастут как из-под земли, скрутят, и некому сзади открыть по ним огонь.

В левую руку, чтобы выдернуть чеку правой, я вложил противотанковую гранату: живым не дамся в любом случае... Но угнетала бессмысленность такой «разведки». Самое-то главное, что некому будет вернуться в полк с донесением и боевая задача не будет выполнена... Стоп, Мансур! А если интуиция тебя подводит и только одна из этих дорог ведет в Илларионовскую? Тогда решение Майорова разделить было правильным?.. Я всеми силами старался осмыслить нашу с ним возможную гибель... Изворотливый мой ум шептал: к смерти будь готов, но постарайся и в этой ситуации не сплеховать.

Я лег на землю и прикинул, на сколько вперед глаз охватывает в таком положении. Метров на двести. Припорошенная снегом степь впереди пуста. И звуков – земля хороший проводник звуков – подозрительных не слышно. Так и стал продвигаться: через каждые двести метров прикидаю ухом к земле, слушаю, встаю, иду, снова ложусь... И вдруг... Даже спазм перехватил горло – улыбнулось тебе счастье, Мансур! Первым обнаружить врага – это выиграть жизнь. Топот лошадиных копыт слышу!.. Ужом отползаю в сторону, автомат, гранаты наготове – жду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.